

ЖИЗНЬ

ЗА

ЖИЗНЬ

АЛАН ПЭЙТОН

РАССКАЗ

Имя Алана Пэйтона, южноафриканского писателя с мировым именем, известно советскому читателю по роману «Плачь, любимая страна», неоднократно издававшегося в Советском Союзе. Публикуемый рассказ взят из сборника Алана Пэйтона «Рассказы страшной земли», вышедшего в 1961 году в Нью-Йорке.

ДОКТОР прикрыл безобразную рану на черепе мертвого Флипа так, чтобы вдова, ее братья и сестры, их мужья и жены и их дети, братья и сестры Флипа, их мужья и жены и их дети могли войти и взглянуть на застывшее каменное лицо хозяина Круна, одного из самых богатых фермеров во всем Карру. Непрерывно подъезжали и отъезжали автомобили: полиция, доктор, репортеры газет, соседи дальние и ближние.

В доме собрались все белые женщины, а на улице — все белые мужчины. Такое событие — насильственная смерть одного из них — в одно мгновение собрало их вместе, и они пришли сюда, чтобы весь мир мог видеть, что они здесь все как один и что они не успокоятся до тех пор, пока справедливость не восторжествует. И то, что эти люди находились там, то, что они собрались вместе, это и было как раз тем самым, что заставляло темнокожих людей укрыться в их маленьких каменных домах, заставляло их говорить приглушенными голосами, передавало страх детям, так что тех даже не приходилось просить, чтобы они не шумели.

Вскоре из Пурта приехал белый священник; вы могли бы узнать его по черной шляпе и белоснежному одеянию. Он пожал руки сыновьям Большого

бааса Флипа и сказал им несколько слов утешения. Затем все собравшиеся вошли за ним в дом, и через некоторое время до маленьких каменных домов на другой стороне долины, до Эноха Маармена, старшего пастуха на ферме Круна, и его жены Сары, сидящих прямо у дверей, донеслись плавные звуки церковного гимна. Тревогу Маармена выдавали нервные подергивания лица и рук, и Сара, поймавшая его состояние, старалась не смотреть на него. Вина камнем давила их обоих, ибо они ненавидели Большого бааса Флипа — не со сжатыми руками и оскаленными зубами, а, как подобает людям в их положении, с приветливостью и почтением.

Вдруг Сара выпрямилась.

— Они идут, — сказала она.

Они увидели: четыре человека вышли из большого дома и направились по тропинке, ведущей к небольшому каменному домику, — и оба почувствовали, как в их душе поднимается и растет страх. Со знанием вины ложилось на них все более тяжким бременем — ведь они не испытывали ни горя, ни сожаления. Их охватывал все больший страх, потому что видимость печали и сожаления могла бы смягчить жестокость надвигавшегося испытания. Кому-то надо расплатиться за такое страшное преступление, и если не тому, кто сделал, то кому еще,

как не человеку, который совсем не сожалеет о случившемся? Ведь не далее как утром, когда Маармен, стоя со шляпой в руке перед баасом Гайсбертом, старшим сыном Большого бааса Флипа, сказал ему: «Мой народ сожалеет, что такая ужасная вещь произошла», — Гайсберт дал ему леденящий душу ответ, что «может быть и так».

Сара оторвала взгляд от идущих и сказала:

— Один из них Робертси.

Энох кивнул головой. Он видел, что один из четверых — сыщик Робертси, рослый человек с таким вспыльчивым, бешеным нравом, что на его губах выступает кровавая пена, и он может любого схватить за горло, и держать так, и отпустить лишь тогда, когда человек вот-вот задохнется. Отец Сары, один из самых мудрых людей во всем дистрикте Пурт, как-то сказал, что он не поручится, действительно ли Робертси бешеный или только делает вид; но так или иначе, все равно это было ужасно.

Маармен и его жена поднялись, когда двое сыщиков вошли и встали в дверях их маленького каменного дома. Первым стоял Робертси. Оба сыщика — здоровенные мужчины — держались нагло и самоуверенно. На них были шикарные спортивные куртки, серые фланелевые рубашки, на голове — серые фетровые шляпы. Сыщики вошли и, не снимая шляп, словно хозяева, оглядели маленький дом.

Потом Робертси, повернувшись к ним и спросил:

— Ты Энох Маармен?

— Да, баас.

— Старший пастух?

— Да, баас.

— А кто другие пастухи?

Энох назвал ему имена, и Робертси, усевшись на один из стульев, записал их в блокнот. Потом он сдвинул шляпу на затылок и спросил, сидел ли кто-нибудь из них в тюрьме.

Энох облизнул пересохшие губы. Ему хотелось сказать, что сыщики сами легко могут это узнать и что он старший пастух, поэтому мог бы ответить только на вопросы, касающиеся фермы или его работы. Но вместо этого он сказал: «Я не знаю, баас».

— Ты не знаешь, что Клейбси сидел в тюрьме на рождество Христово?

— Да, я знаю это, баас.

Робертси вскочил на ноги — его голова чуть не касалась потолка, его фигура почти заполнила маленькую комнату — и взревел диким голосом:

— Тогда почему же ты лжешь?

Сара отпрянула к стенке и глядела на Робертси одичалыми глазами, но Энох не сдвинулся с места, хотя тоже был смертельно напуган.

Он ответил:

— Я не думал лгать, баас. Клейбси сидел в тюрьме за пьянство, а не за убийство.

Робертси завопил:

— Убийство?! Почему ты заговорил об убийстве?

Потом, когда Энох не ответил, сыщик внезапно поднял руку и, задев соседний стул, уронил его, Энох отскочил назад. Пав на колени и прикрывая одной рукой голову, он поставил стул на место, говоря: «Баас, мы знаем, что вы здесь потому, что хозяин убит».

Но Робертси поднял руку только для того, чтобы снять шляпу, и теперь с усмешкой положил ее на стол.

— Зачем падать, — сказал он, — когда я только снял шляпу. Я люблю снимать шляпу, находясь в чужом доме.

Он улыбнулся Саре и, взглянув на стоящий перед ней стул, сказал ей: «Ты можешь сесть».

Когда же она никакой попытки сесть не сделала, улыбка исчезла с его лица, и он повторил уже холодно и угрожающе: «Ты можешь сесть».

Как только она уселась, он заметил Маармену:

— Я не буду больше ронять стульев. Ибо, если один из них сломается, ты заявишь судье, что я сломал его, не так ли? Что я поднял его и угрожаю им тебе...

— Нет, баас.

Робертси снова сел и стал изучать свой блокнот, словно там было записано что-то еще, кроме имен пастухов. Потом он вдруг спросил, вне всякой связи: «Ты ненавидишь его, не правда ли?»

И Энох ответил: «Нет, баас».

— Где твой сын Иоганес?

— В Кейптауне, баас.

— Почему он не остался здесь пастухом?

— Я не захотел этого, баас.

— Ты послал его в белый университет?

— Да, баас.

— Чтобы он мог стать белым баасом?

— Нет, баас.

— Почему он ни разу не приехал к тебе повидаться?

— Большой баас не позволял ему, баас.

— Из-за того, что он не захотел быть пастухом?

— Да, баас.

— Так ты ненавидишь его, не так ли?

— Нет, баас.

Робертси взглянул на него с презрением:

— Человек не пускает твоего собственного сына к тебе домой, потому что ты захотел дать своему сыну лучшую жизнь, и ты прощаешь ему? Господи, что вы за люди?

Он продолжал смотреть на Маармена с презрением, затем брезгливо передернул плечами и вдруг заговорил располагаясь, доверительно, даже дружески:

— Маармен, у меня есть для тебя новость. Ты можешь считать ее хорошей или плохой, как тебе нравится, но ты имеешь право знать ее, поскольку она касается твоего сына.

Мрачные предчувствия сразу же охватили пастуха. Робертси приготовил какой-то новый подвох.

— Твой сын, — сказал Робертси добродушно, — ты думаешь, он находится в Кейптауне, так ведь?

— Да, баас.

— Так вот, это не так! Он здесь, в Пурте, его видели там вчера.

Сыщик подождал, чтобы новость произвела должное впечатление, затем спросил: «Он ненавидел Большого бааса Флипа, так ведь?»

Маармен закричал: «Нет, баас!»

Робертси второй раз вскочил на ноги, наполняя комнату своей громадной фигурой и своим бешеным видом.

— Он не ненавидел его? — вскричал он. — Господь всемогущий! Большой баас Флип не позволял ему приехать в свой собственный дом, к своему собственному отцу с матерью, и он не ненавидел его! И ты также не ненавидишь его, ты, ползучий, трусливый ублюдок? Что ты за человек после этого? — Он посмотрел на пастуха налитыми кровью глазами, а потом вновь с презрением повторил: — Ползучий, трусливый готтентотский ублюдок.

— Баас... — сказал Маармен.

— Что?..

— Баас, баас может спрашивать все что угодно, и я постараюсь ему ответить, но я прошу бааса не оскорблять меня в моем собственном доме, перед моей собственной женой.

Робертси, казалось, пришел в восхищение. Другой бы белый был возмущен, что цветной позволяет себе давать ему такого рода советы, а он, Робертси, был способен восхищаться таким проявлением человеческого достоинства.

— Оскорблять тебя? — сказал он. — Хм... Разве ты не видишь: я снял шляпу, входя в этот дом?

Он повернулся к Саре и спросил:

— Ты видела, как я снял шляпу при входе?

— Да, баас.

— Ты тоже думаешь, что я оскорбил твоего мужа?

— Нет, баас.

Робертси улыбнулся ей благосклонно и добавил:

— Я только назвал его ползучим, трусливым готтентотским ублюдком.

Собственные слова привели Робертси в ярость. Он шагнул к пастуху, и его коллега, второй сыщик, внезапно закричал на него: «Робертси!»

Робертси остановился. Он бессмысленно взглянул на Маармена.

— Кто-то звал меня? — спросил он. — Ты слышал голос, звавший меня?

Маармен стоял, остолбеневший от ужаса. Он видел кровавую пену на губах сыщика и никак не мог решить, был ли это действительно припадок безумия, или просто бешенство, играющее под безумие, или же что-то другое.

— Другой баас звал вас, баас.

Тогда внезапно все прошло. Робертси снова уселся на стул и принялся опять задавать вопросы.

— Ты знаешь, что были украдены деньги?

— Да, баас.

— Кто говорил тебе?

— Мими, девочка, которая работает в большом доме.

— Ты знаешь, что деньги находились в железном сейфе и сейф исчез?

— Да, баас.

— Куда он мог исчезнуть?

— Я не знаю, баас.

— Куда бы, скажем, ты дел его, если бы украл? Маармен молчал.

— Ты не хочешь отвечать? М-м-м...

Три человека, боясь возврата грозы, с тревогой следили за Робертси. Но тот улыбнулся благожелательно:

— Ладно, я не буду задавать этот вопрос. Но я хочу, чтобы ты подумал о тех местах, где этот сейф мог быть спрятан. Чтобы его унести, нужны по крайней мере два человека, а то и больше. И они не могли унести его с территории фермы за это время. Так что он еще здесь. Теперь все, что я хочу от тебя, так это подумать, где он может быть спрятан. Никто не знает эту ферму лучше, чем ты.

— Я подумаю, баас.

Вдруг второй сыщик сказал:

— Лейтенант приехал.

Оба сыщика встали в дверях и начали смотреть на дом на той стороне долины. Потом Робертси внезапно повернулся к Маармену и, схватив его за шиворот, подтащил к двери, чтобы тот тоже мог посмотреть:

— Ты видишь тех людей? — спросил он. — Они хотят знать, кто убил Большого бааса Флипа, и они хотят знать быстро. Ты видишь их?

— Да, баас.

— И ты видишь вон того лейтенанта? Он едет на «крайслере», и, ей-богу, он также хочет знать это. И, ей-богу, он вконец заездит меня, если я не узнаю.

Он толкнул пастуха обратно в комнату и, надев шляпу, вышел в сопровождении второго сыщика.

— Не думай, что ты видишь меня в последний раз, — сказал он Маармену, — ты еще должен показать мне, куда твои друзья спрятали этот сейф.

Затем он и его товарищ присоединились к двум другим сыщикам, и все четверо направились обратно к большому каменному дому. Они оживленно переговаривались и не раз останавливались, выслушивая того, кто выкладывал свою точку зрения или свою теорию. И никому бы не пришло в голову, что один из них — умалишенный.

* * *

Двенадцать часов спустя за ним пришел бешеный сыщик с такими красными глазами, словно лейтенант заездил его вконец. Он с ухмылкой взглянул на ее мужа: «Идем, поищем сейф», — сказал он. Солнце уже давно закатилось за холмы Круна, и совсем не время было искать сейф.

Эту ночь она не спала. Соседи пришли посидеть с ней. Ждали до полуночи, до двух часов, до четырех — ничего. Почему он не возвращается? Неужели они все еще ищут этот проклятый сейф?

Рисунок Н. Гришина



Потом над холмами Круна поднялось солнце, и высокий каменный дом на другой стороне долины проснулся вместе с ним, ибо это был день, когда Большой баас Флип должен был обрести вечный покой под кипарисовыми деревьями кладбища. Не зная, что им делать, пастухи отправились к баасу Гайсберту, чтобы тот задал им работу на день, и Гендрик Бааджейс, второй пастух, говоря от имени Сары Маармен, жены старшего пастуха, сказал баасу Гайсберту, что полиция забрала Эноха Маармена на закате, а теперь утро, и он все еще не вернулся, и его жена очень беспокоится. Не может ли баас Гайсберт, пожалуйста, позвонить немного, совсем немного, не долго, только очень коротко, и спросить, что стало со старшим пастухом его отца? И баас Гайсберт сказал дрожащим от гнева голосом: ты, что, не знаешь, что это был мой отец, которого убили.

Так что Гендрик Бааджейс прикоснулся к своей шляпе и сказал: «Извините меня, баас, что я спросил»,— и вернулся, и встал рядом с другими пастухами. Ему было стыдно, стыдно за себя, стыдно за других мужчин, и тем было также стыдно— ведь это они должны научить своих детей борьбе за место в жизни.

* * *

Прошло пятнадцать часов. Но она еще ничего не ела. Соседи принесли еду, она так и не притронулась к ней. Она видела красную пену в углах рта, огромную фигуру, слышала страшный голос, наполнявший ее дом гневом, притворной вежливостью, презрением, бессердечным смехом. Только из-за того, что один был пастухом, из-за того, что у него не было уверенности ни в завтрашнем дне, ни в милости другого, из-за того, что он вынужден был гнуть спину и говорить трусливые слова под угрозой физической расправы, только из-за того, что на нем, как клеймо, эта черная, выжженная солнцем кожа— чем она хуже любой другой!— из-за всего этого какой-то полицейский валит с ног, хватая за горло человека, который никогда за всю свою долгую и благородную жизнь не обидел никого, человека, который, подобно Христу, был другом животных и маленьких детей, был всегда добрым мужем и отцом, за исключением редких вспышек— их женщина всегда всегда прощает,— вспышек томящейся в заключении отваги, отваги, уставшей от цепей, уставшей стоять на коленях. Да, бешеный полицейский сыщик мог снять свою шляпу в доме этого человека только в насмешку и задать кучу вопросов, которые он, хотя и был огромный, как гора, никогда бы не осмелился задать белому.

В одиннадцать часов пришел Гендрик Бааджейс и сказал, что вполне точно установлено— ни старшего пастуха, ни сыщика на ферме Крун в эту ночь не было. Потом, в полдень, какой-то мальчик принес весть, что ее брат, Соломон Купмен, приехал на такси и ждет ее у ворот фермы и что она должна сейчас же пойти к нему туда, потому что он не хочет заходить к ней в дом. Она, повязав платок, пошла и, как только увидела своего брата, сразу закричала: «Они целы и невредимы?» А когда он посмотрел на нее удивленно, добавила: «Мой муж и мой сын...» Брат сказал ей, что это, по-видимому, шутка Робертси: сын ее жив и здоров и находится в Кейптауне, а в Пурт вообще не приезжал. Ему было приятно сообщить эту новость, ибо другое сообщенное им известие, что Энох, ее муж, убит, было ужасно. Он всегда немного боялся за свою сестру, которая выросла сиротой, без матери, и сей-

час не знал, как ее утешить. Но она только немного всплакнула, подобно человеку, что привык к такого рода несчастьям и не должен огорчаться, а должен терпеливо готовиться к следующему.

Потом она спросила, как он умер. И брат рассказал ей историю смерти Эноха, которую ему поведали в полиции: как ночь была темная, и как они спустились для поисков к реке, и как Энох поскользнулся там на одном из больших камней и упал головой на камни, и как они спешно повезли его в Пурт, но он скончался по дороге.

Что можно возразить человеку, рассказавшему подобную историю? И он не возразил. Ему было стыдно говорить об этом, стыдно, но он вынужден был вести себя так: ведь он имел лицензию на торговлю мясом в Пурте и не мог позволить себе усомниться в достоверности истории, сочиненной в полицейском участке.

* * *

Увы, они не могут выдать ей тело мужа: его уже похоронили! Увы, она должна знать, что сейчас лето и от жары труп начал разлагаться, вот почему они похоронили его! Разумеется, они бы не сделали этого, знай, кто он такой, знай, что он жил рядом, на всем известной ферме Крун!

Нельзя ли тело вырыть и отвезти в Крун, чтобы похоронить там, среди холмов, где Энох Маармен почти пятьдесят лет честно работал, ухаживая за овцами Большого бааса Флипа? Увы, этого сделать нельзя, ибо одно дело— похоронить человека и совершенно другое дело— вырыть труп. Чтобы похоронить кого-нибудь, достаточно только доктора, да и то не всегда, но чтобы вырыть, вы должны поехать в Кейптаун и получить разрешение от самого министра. А он не так-то легко разрешит нарушить покой человека, коль скоро он уже лежит в земле.

Соломон Купмен хотел было уйти— с улыбкой на губах и жгучей ненавистью в сердце. Но она не уходила. Ибо если какая вещь и была наверняка ее собственностью, так это тело человека, с которым она прожила многие годы. Она требует, чтобы молодой полисмен за столом показал ей свидетельство о смерти ее мужа, и она хочет знать, по чьему приказу его похоронили, кто похоронил, она хочет сама убедиться, что тот человек не знал, что это было тело Эноха Маармена, старшего пастуха фермы Крун, который этой ночью искал сейф вместе с сыщиком Робертси.

Она задавала все эти вопросы через своего брата Соломона Купмена, имевшего лицензию на торговлю мясом и поэтому смягчавшего ее слова при переводе, ибо он понимал, что в них заключается намек на какую-то страшную тайну. И хотя он излагал вопросы как можно деликатнее, он видел, что белый полисмен за столом теряет терпение от такой назойливости и начинает думать, что горе— это еще не основание для подобного допроса властей.

В комнату вошли еще полицейские. Они также слышали вопросы этой женщины, ни за что не хотевшей уходить, и один из них попросил полисмена за столом показать ей свидетельство о смерти.

В нем говорилось: «Смерть произошла от кровоизлияния в мозг».

— Он ударился головой о камни,— пояснил полицейский постарше,— и произошло кровоизлияние.

— Я требую показать мне сыщика Робертси,— сказала она.

Полицейские заулыбались и понимающе переглянулись между собой.

— Вы не сможете увидеться с ним, — сказал один, — он с сегодняшнего дня ушел в отпуск.

— Почему он ушел в отпуск, когда он занимался этим делом?

Полицейские поглядывали на нее уже раздраженно. Она слишком далеко заходит, даже если у нее и умер муж. Ее собственный брат забеспокоился и начал просить: «Сестра, пойдем отсюда, пойдем».

И тут от гнева и скорби она разрыдалась. Полицейские почувствовали себя неловко и ушли, оставив молодого констебля одного за столом.

— Как это произошло? — восклицала она. — Каким образом мой муж умер? Почему нет здесь сыщика Робертси, который может ответить на мои вопросы?

Тот пробурчал ей сердито, что они здесь на такого рода вопросы не отвечают. Если ей нужно, пусть обратится к адвокату.

Она и ее брат повернулись, чтобы уйти, но в дверях им попался еще один полисмен, вежливый и и рассудительный.

— Почему твоя сестра так неблагоразумна? — спросил он Соломона Купмена. — Адвокат только вконец испортит отношения между полицией и народом.

— Спроси его, — сказала Сара своему брату, — разве это неблагоразумно — желать знать причину смерти собственного мужа?

— Скажи ей, — ответил полисмен Купмену, — что это был несчастный случай.

— Он знает, кто я, — сказала Сара. — Почему он допустил, чтобы моего мужа похоронили без меня, когда он знал, что тот жил в Круне?

Ее голос креп, в то время как голос полисмента становился все тише и тише.

— Не я хоронил его, — говорил он в отчаянии. — Это был приказ свыше.

На улице Купмен сказал своей сестре:

— Печально, сестра, но я вынужден просить тебя не ходить к адвокату. Потому что если ты это сделаешь, я потеряю лицензию, и кто тогда сможет тебе содержать твоего сына в университете?

* * *

Сара вернулась домой, когда солнце уже закатилось за холмы Круна. Двадцать четыре часа прошло с тех пор, как ее муж ушел искать сейф с сыщиком Робертси. Она зажгла лампу и села, настолько утомившись за день, что забыла и думать о еде. Пока она сидела так, в дверь постучали, и вошел Гендрик Бааджейс, чтобы передать ей соболезнование всех темнокожих людей фермы Крун.

Он долго стоял перед ней, вертя шляпу в руках, как будто она была белой леди, прежде чем решился передать ей приказ бааса Гайсберта, которому теперь понадобился новый пастух и дом Эноха Мармена для него. Ей дано три дня на сборы всех ее пожитков и мул с повозкой, чтобы отвезти их в Пурт.

— Трех дней достаточно? — спросил Бааджейс. — Если нет, я могу попросить побольше.

— Трех дней достаточно, — сказала она.

Бааджейс ушел, а она сидела и думала: «Три дня, три дня — это даже много, чтобы продолжать жить в этой стране камня и жестоких белых хозяев. Три дня...»

Перевел с английского
Н. Колпаков

ЛЮДИ «ВТОРОГО СОРТА»

Это случилось в ФРГ, в университете, который должен быть очагом культуры. Между группой немецких и африканских студентов по какому-то пустяку возник спор. И тогда один из немцев крикнул африканцам:

— Вот видите деревья? Полезайте на них. Там ваше место, животные!

Кто знает нравы немецких буршей-корпорантов, разодетых в опереточные костюмы со ипагами, страстных любителей кровавых дуэлей, тот не удивится. В том же Мюнхенском университете и поныне еще преподают семь видных профессоров-гитлеровцев. Их отношение к «черным» примерно такое же, как было к евреям и ко всем «неполноценным», или «неарийским», расам.

В высшей школе ФРГ модным стал лозунг неонацистов: «Негер раус!» («Долой негров!»), вариация старого лозунга Гитлера: «Юден раус!» («Долой евреев!»).

— В этом государстве на каждом шагу ощущаешь «прелести» неокolonизма, — заявил Али Ахмед Саад, студент из Судана. Вместе с шестью товарищами он покинул эту негостеприимную страну. Вот что он рассказывает:

— Мы жили в Мюнхене в течение двух лет. Все, что нам обещали, оказалось сплошным обманом. Приходилось по десять часов в день заниматься физическим трудом только для того, чтобы уплатить за учебу. В студенческое общежитие нас не пускали. Было очень трудно найти частную квартиру. С нас требовали до 200 марок. И это еще хорошо, ибо в большинстве случаев перед нами просто-напросто молча захлопывали дверь.

В немецком языке возник любопытный неологизм «фарбцоль», что значит «аналог за цвет кожи»... Африканцев оскорбляют в общественных местах, на улице. А в некоторых университетах от студента африканца требуют даже подписку, что он «воздержится от политической деятельности»...

Что же это означает на практике? Поясним на примере. Четыре студента из ОАР сидели на лекции в Боннском университете. Преподаватель позволил себе наглый выпад против арабов. Вполне естественно, что все четверо возмутились и запротестовали. За это их отчислили.

Девять молодых студенток из Конго переехали учиться в ГДР. Они заявили, что с ними в ФРГ обращались как с людьми «второго сорта». Сперва им обещали выдавать стипендии, однако они ничего не получили. В ФРГ, оказывается, стипендию получает лишь один из 13 студентов. Зато конголезкам предложили выполнять всевозможную черную работу — быть уборщицами, стирать белье.

Удивительно ли, что одна из студенток сказала:

— Если уж заниматься такой работой, то лучше у себя на родине.

Т. АУЭРБАХ